

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

ГЛАВА 3

ПОЭЗИЯ И ПОЛИТИКА

24 апреля 1946 года Вадим записывал в дневник:

“Я поступил в Объединение московских юных поэтов при газете “Пионерская правда” — как гордо называется наша компания. Около 15 человек — поэтов и прозаиков собираются по четвергам в 8 час. вечера в редакции; читают стихи, спорят, бранятся и т. д. и т. п. etc, etc. Меня беспощадно раскритиковали, когда я 11 числа /IV — сего года выступил со своими, как я действительно теперь понял, подражаниями. На меня обрушился целый град: “банально!”, “сплошное подражание” etc, etc... Руководителем у нас на разборах Владимир Иванович Ошанин (брат Льва Ошанина, известного поэта-халтурщика) — литературовед и любитель поэзии. В объединении следующие лица: вот они в “моем порядке”.

Ада Левина, Афанасьев Виктор, Графский Юрий, Ястребцев Валерий, Криворучко Юрий, Грисман Михаил, Маршак Виктор, Аркин Илья, Устинов, Маркович Елена, Прохорова Ася...”

Меня сразу же привлекло в этом списке имя Виктора Афанасьева, автора “жэзээловских” биографий Кондратия Рылеева, Василия Жуковского и Михаила Лермонтова, Афанасьева, с которым я некоторое время был близко знаком, не подозревая о его товарищеских отношениях с Вадимом Валериановичем еще в послевоенные годы... Уже на склоне лет ушедший в монашество (он стал монахом Лазарем) Афанасьев так вспоминал о событиях той давней поры, заочно “уточняя” и “расширяя” “кожиновский список”:

“Нас было — отроков и отроковиц — около пятнадцати... Перечислю только некоторых из ребят, тех, с которыми я был ближе. Это — Вадим Кожин, Михаил Грисман (позднее публиковал переводы стихов с африканских языков под именем Михаила Курганцева), Илья Аркин — впоследствии советский педагог-теоретик, помещавший статьи в “Правде” и “Известиях”; будущий журналист Юрий Графский, Валентин Ястребцев (у Афанасьева — Валентин! — С. К.), впоследствии военный летчик, но рано скончавшийся; ученики Центральной музыкальной школы при Консерватории: пианист Лев Эпштейн, сочинявший “кавказские” поэмы под Лермонтова, и Марк Лубоцкий, ныне скрипач с мировым именем, а тогда писавший стихи “лесенкой” под Маяковского. Первые наши публикации были именно в “Пионерской

Продолжение. Начало в № 1-3 за 2019 год.

правде” в 1946 году. Замечательный редактор Елена Успенская (из рода известного писателя XIX века Глеба Успенского) очень внимательно относилась к нашему творчеству. Тогда, отроками, я и Вадим не без удовольствия видели свои стихи в “Пионерской правде” и слышали в “Пионерской зорьке” по радио, а она звучала каждое утро”.

“Пионерскую правду” того времени и сейчас можно прочесть с неким ностальгическим удовольствием и от души пожалеть, что эта газета в “новое время” практически полностью изменилась. Главным редактором её в те годы был детский писатель Виталий Губарев, чьи книги “Королевство кривых зеркал” и “В тридевятом царстве” выдержали не одно издание. Рассказы и статьи публиковали нерядовые авторы: Виталий Бианки, Рувим Фраерман, Константин Паустовский, фантаст Александр Казанцев. Фадеев печатал отрывки из “Молодой гвардии”, Шолохов – из романа “Они сражались за Родину”... Там же можно было прочесть и отрывки из дневников Миклухо-Маклая “На Новой Гвинее”.

И рядом с маститыми авторами – рассказы школьников, которым от тринадцати до шестнадцати, их очерки классной жизни, их первые поэтические опыты... 25 октября 1946 года газета отмечала пятилетие героической гибели Аркадия Гайдара. На одной странице со стихами Сергея Михалкова и заметкой Паустовского было напечатано стихотворение “Таким он шел в последний бой...” ученика 16-й московской школы Вадима Кожинова.

*Его я вижу в гимнастёрке,
Взгляд устремлён всегда вперёд...
Он юности писатель зоркий,
Он коммунист и патриот.*

*Таким он был, когда, приехав
На сбор торжественный в отряд,
Он о делах и об успехах,
Смеясь, расспрашивал ребят.*

*Перо сменил на автомат он —
Писатель, воин и герой...
Гайдар нам помнится солдатом,
Каким он шёл в последний бой...*

Десятилетия спустя, отмечая свой последний юбилей, Кожинов вспомнил об откликах, которые вызвало это весьма непритязательное, хотя и ладно скроенное стихотворение. “В 1946 году (я был тогда учеником 8-го класса московской школы № 16) относится первое мое выступление в печати, посвященное всеми любимому тогда писателю Аркадию Гайдару, выступление, на которое откликнулись люди из разных городов и селений страны. И их письма, естественно, не могли не вызвать глубокого воодушевления у начинающего автора...”

К тому же со временем я осознал, что сам по себе факт получения мною тогда таких писем говорит о великой душе нашего народа... Ведь страна только начинала залечивать тяжелейшие раны, нанесенные страшной войной, а кроме того, переживала настоящий голод, порожденный катастрофической засухой лета 1946 года. И тем не менее в конце этого года люди откликнулись на сочинения школьника!

Приведу фрагменты из писем одной из моих читательниц – фрагменты, которые могут счесть слишком “простодушными”, но, с моей точки зрения, это придает им особенную ценность:

“Вадик, милый, прими много-много сил и здоровья в твоей счастливой жизни и учёбе. – Н. М. Бурмистрова. Прошу, будь добр, не посчитай за труд, ответь мне...”

Я тут же ответил, и пришло новое письмо от 6 декабря 1946 года:

“Разрешите поздравить тебя с Новым годом и пожелать тебе, милоч, только отличных успехов в твоём начатом деле... Я живу, как тебе известно,

по адресу, в Северо-Казахстанской области, в маленьком колхозе “Советский Луг”, работаю уже 10 лет на учительской работе на одном и том же месте. В этом году занимаюсь с двумя классами, 1 и 3; я же заведующая школой и военрук, а также всё домашнее хозяйство лежит на моих руках. Муж служит в РККА, год рождения мой – 1920. Веришь ли, что с тобой переписку хочется продолжать...”

Последующих писем Натальи Матвеевны я не смог найти. Но и сегодня низко кланяюсь ей или её памяти, если она не дожила до 2000 года... Подобные ей люди – глубинная и необходимая основа отечественной культуры; правда, чтобы понять это со всей ясностью, нужно отчетливо представить себе жизнь страны в декабре 1946 года, когда заповедь “не хлебом единым жив человек” было столь нелегко соблюсти...”

(Эти комментарии к письму своей читательницы Кожиних писал в 2000-м, когда сама фамилия “Гайдар” для большинства народа ассоциировалась исключительно с “писательским внуком”, чьё имя у многих и многих превратилось в ругательство. Посему Вадим Валерианович счёл необходимым сделать подстрочный комментарий:

“Ныне в глазах многих людей на это имя как бы бросает недобрую тень его небезызвестный внук. Но последний родился через полтора десятилетия после гибели деда, а, кроме того, Гайдар не воспитывал его отца, так как мать последнего вскоре после его рождения разорвала отношения с мужем. Правда, впоследствии, когда Гайдар стал знаменитым писателем и героем, погибшим на Отечественной войне, его бывшая жена добилась, чтобы ее сын получил фамилию Гайдар – хотя это был только литературный псевдоним А. П. Голикова”).

... А за месяц с небольшим до Вадимовой публикации в одном из номеров “Пионерской правды” был опубликован следующий исторический документ:

“Товарищи солдаты, матросы, сержанты и старшины!

Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!

Сегодня мы празднуем ДЕНЬ ПОБЕДЫ над империалистической Японией.

Год тому назад Советский народ и его Вооруженные Силы победоносно завершили войну против империалистической Японии. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. Советский народ и его Вооруженные Силы одержали победу и внесли этой победой огромный вклад в дело достижения мира во всём мире...

В ознаменование ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ над империалистической Японией – ПРИКАЗЫВАЮ.

Сегодня, 3 сентября, произвести салют в столице нашей Родины – Москве, в столицах союзных республик, а также в Хабаровске, Владивостоке и Порт-Артуре – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами...

Министр Вооруженных Сил Союза ССР
Генералиссимус Советского Союза
И. Сталин”.

И здесь чрезвычайно знаменательно то, как Вадим Валерианович через много лет вспомнил это событие, и не просто вспомнил – а прокомментировал его уже с башни конца XX столетия.

“У меня сохранился мой юношеский дневник... Можно цитировать целые страницы патриотического восторга и упоения. Причем, действительно, в сознании людей произошло резкое изменение. И правительство этому способствовало! Так, например, после победы над Японией, выступая по радио, Сталин произнес потрясающие слова. Я прочел тогда известную повесть Валентина Катаева “Белеет парус одинокий”, где говорилось о войне с Японией как о гнусном деянии царского империализма. А тут вдруг Сталин сказал: мы, люди старшего поколения, ждали этой победы сорок лет. То есть ждали с 1905 года! Это высказывание вождя буквально перевернуло во мне всё и вся. Потому что меня приучили считать, что мерзкая царская Россия напала на бедную Японию и, к нашему счастью, потерпела поражение. На самом деле всё было наоборот!...”

(Кожинов вспомнил здесь слова из “Обращения товарища И. В. Сталина к советскому народу 2 сентября 1945 года: “...Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции...”).

Действительно, в сознании многих наших соотечественников происходил кардинальный перелом. Крайне символичен один эпизод, о котором вспоминал в своих мемуарах многолетний неистовый оппонент Кожинова – критик Бенедикт Сарнов, поступивший после войны в Литературный институт им. А. М. Горького. После того как было предано печати знаменитое выступление Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками 24 мая 1945 года (“Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю этот тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение”) сосед Сарнова, большевик (что специально счёл необходимым подчеркнуть мемуарист), произнёс буквально следующую фразу: “Ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский”. И подобное могли повторить тогда миллионы жителей многонационального СССР... Слишком долго само слово “русский” связывалось исключительно с понятиями “белогвардеец”, “контрреволюционер”, “черносотенец”...

Скорее всего, именно в это время у Вадима состоялся один из его немногочисленных откровенных разговоров с отцом. Валериан Фёдорович вспомнил о том, как в детстве его привезли к самому Иоанну Кронштадтскому. Деталей разговора Вадим Валерианович не вспоминал, только упомянул, что его отец обмолвился: замечательный человек, но, увы, черносотенец.

...Вадим рылся в домашних архивах и, овладев записной книжкой своего деда, прочитав запись ещё одного “черносотенца”, Василия Андреевича Пузицкого, о “домашнем учительстве” в доме внуков поэта, отправился тогда же в Мураново, в “тютчевскую усадьбу”. Принял его там внук Фёдора Ивановича и воспитанник Василия Андреевича, семидесятилетний Николай Иванович Тютчев. Кожинов успел вовремя – через три года Николая Ивановича не стало.

Встретили Вадима с покоряющим радушием. Объяснялось это не только врождённым аристократизмом хозяина, но и самыми добрыми воспоминаниями о Василии Андреевиче. Вадим был представлен сёстрам Николая Ивановича (одна из них – Софья – имела подлинный вид царской фрейлины). Сам внук поэта по случаю приема дорогого гостя облачился в костюм-тройку XIX века. Разговор, естественно, зашел о Тютчеве-поэте, которого Кожинов уже хорошо знал, потом, по закону живой беседы, стал перескакивать на самые разнообразные темы.

Раздались звуки, похожие на удары колокола. “Это что, звонят в здешней церкви?” – спросил Вадим. “Нет, – ответил Николай Иванович, – это – коль-хоз” (очевидно, выгонялось на пастбище колхозное стадо, или собирали колхозников на какое-либо мероприятие). От “коль-хоза” разговор перекинулся на новое законодательство о браке с чрезвычайно жёсткими ограничениями. Внук Тютчева отозвался о нём вполне благожелательно.

– Слава Богу, а то ведь Россия прямо-таки в публичный дом превратилась.

Вторая сестра Екатерина Ивановна гордо сообщила:

– А знаете, книгу нашего Кирилла Васильевича о Кутузове одобрил Сталин.

Кирилл Васильевич Пигарев был ее сыном, и с этим человеком Вадиму Валериановичу еще предстояло встретиться в стенах Института мировой литературы.

...Сердечно простились, приглашая гостя еще и еще раз посетить гостеприимную усадьбу. Вадим, естественно, приехал. И в следующий приезд его ждала, похоже, провиденциальная встреча.

К дому подъехал роскошный “ЗИС-110”, из которого вышел священнослужитель в полном облачении, которого хозяин сердечно обнял, как старого и дорогого знакомого. И тут же представил приехавшему Вадима: “А ты знаешь, кто это? Это внук Василия Андреевича Пузицкого, которого ты, я думаю, помнишь”.

“Гость улыбнулся, — вспоминал Кожин, — и протянул мне руку, но как-то странно, на уровень губ. Я же всё-таки родился и рос не в те времена и, несколько удивившись манере протягивать руку так высоко, осторожно пожал её. Кажется, это смутило моего нового знакомого. . .”

Этим “новым знакомым” был будущий Патриарх земли Московской и всея Руси Алексей I. Еще будучи Сергеем Симанским, он учился с Николаем Тютчевым в Катковском лицее и присутствовал в Мураново на уроках Василия Андреевича.

* * *

Вадим писал не только стихи — он обстоятельно отвечал начинающим поэтам — таким же школьникам, как и он сам. Сохранилось его письмо неизвестному корреспонденту от 28 октября 1946 года.

“Дорогой Эдик!

Участники лит. объединения при газете “Пионерская правда” читали твои стихи. Отзывались о них по-разному: и плохо, и хорошо. Мне поручили написать тебе письмо-отзыв. Стихи твои в целом производят хорошее впечатление. В них есть целеустремлённость, свежесть. Но всё же в них немало существенных недостатков, о которых я и хочу написать тебе. Во-первых, часто ты меняешь ударения в словах. Это указывает на то, что ты мало работаешь над стихами. Ведь стихотворение всегда можно исправить не в ущерб смыслу. А ты, из-за нежелания сделать соответствующие исправления, коверкаешь русский язык.

Из 11 твоих стихотворений, присланных в редакцию, мне понравились три: “Материнское горе”, “Родимый край” и “После грозы”. Первое из них — стихотворение с хорошей мыслью, ярко выраженной. Но и здесь есть недостатки, которые портят его. Зачем сообщать, что у матери “материнские слёзы”? Это и так ясно. Конец этого стихотворения слабый, невыразительный. Читая это стихотворение, невольно ждёшь более яркой концовки, чёткого афоризма. А его нет.

Стихотворение “Родимый край” подкупает своей простотой. Но в нём нет основной идеи. Последнюю строчку:

*“Сердцу не сыскать милей,
Родина, тебя”,*

нельзя считать идеей произведения. Это лишь избитые слова, которые повторяются в стихотворениях сотен авторов, начиная с русских народных песен. Хороша в этом стихотворении строчка

“Сердца стук... Тревожно так...”

Она верно передаёт настроение.

В стихах твоих попадают несуразные выражения: “Жнитво уже началось”, “С серпами, кто с косой”, “В гармошку поиграть”, “Спаханная земля”, “И синий простор необъятных небес, где юность промчалась моя”. Разве ты птица, чтобы жить в “просторе необъятных небес”?

Неплохо написано стихотворение “После грозы”. Мне хочется разобрать его здесь, т. к. пейзажная лирика — это как раз то, чем я занимался всё лето 1946 г. Стихотворение... написано... по-видимому, по личным наблюдениям автором июльской грозы. “Я стою у окна” — первая фраза, довольно шаблонная, говорит о месте наблюдения. Это понятно.

*“На блестящем стекле
Как хрусталики капли стекали”,*

здесь у читателя сразу появляется недоумение. Каждый привык не так видеть природу после грозы. После дождя, летом, всегда открывают окна. В комнату врывается волнующий свежий ветерок, который пьянит и играет волосами. А тут поэт сидит за стеклом!

“Освежённая зелень угрюмых садов

(почему “угрюмых”?)

И от сна пробудившийся лес”.

Лес как раз во время грозы не спит! Скрипят сосны-великаны, ели кивают мохнатыми шапками, дрожат осинки. . . Лес не спит, он борется с грозой, с ветром. Но вот пролетит дождь, уляжется ветер, и мокрые, усталые ели поникнут и ждут солнца. В последней строфе стихотворения ты прилагаешь к предложению “солнце смеётся” пять деепричастий: блестя, играя, рождая, горя, отражаясь. Получается утомительный набор слов.

Стихотворение “После грозы” получилось бы значительно лучше, если бы ты брал более свежие, выхваченные из природы образы, приглядывался к природе побольше.

“Дорога войны” написана динамично, есть много хороших мест, но на стихотворении следы того, что ты мало работал над ним. “Кончив сидение, вышли мы в бой” – как это звучит на фоне войны, так хорошо нарисованным тобой! Здесь в “Дороге войны” плохие рифмы. . . страдает и размер стихов.

Мысль стихотворения “Ты ждёшь и веришь” взята полностью из стих. К. Симонова “Жди меня”, только выражена гораздо слабей и хуже.

Также отсутствует оригинальность (исключая “Снег колючий в окна плещет”) в стих. “Зима”. Надо много и упорно работать над стихами. Отдавай им больше времени, старайся, чтобы в них не было слабых мест. . . С приветом Вадим Кожин”.

В письме обращает на себя внимание обстоятельность, точность и доброжелательная взыскательность разбора, который устраивает своему сверстнику 16-летний (!) школьник. (Я уже много лет веду поэтические семинары молодых – и не очень молодых! – на разных творческих совещаниях, и думаю сейчас: Господи, если бы кто-нибудь из моих семинаристов сумел так же детально и вдумчиво, со знанием дела, хорошим русским образным языком разобрать стихи своего соседа! Может быть, когда-нибудь дождусь).

И здесь самое время сказать о наставнике Вадима на литературном поприще, появившемся двумя годами ранее на его горизонте, наставнике, о котором Кожин вспоминал впоследствии с неизменной благодарностью.

“Большую роль в моем становлении, когда мне было 14 лет, сыграл Игорь Сергеевич Павлушков. Это был человек из богатой купеческой семьи, после революции, естественно, ничего у него не осталось. Он учился в знаменитом Брюсовском институте – был такой предшественник Литературного института – и он знал всех лично: от Цветаевой, Мандельштама и Брюсова до Есенина; сам писал стихи – не скажу, что высокого уровня, но неплохие. С ним случилось несчастье – он оглох полностью и обычно общался через записки на бумаге. Из-за этого, кстати, у него испортилась речь – он стал говорить неразборчиво, косноязычно. И он стал нищим, самым настоящим нищим. Ни бомжем – у него была какая-то клетушка под Москвой. Но доходило до того, что он в пригородных поездах собирал милостыню. И вот этот человек пытался открывать молодые поэтические дарования. Он ходил по школам с соответствующей бумагой, где Маршак, который сделал ему такое одолжение, просил оказывать всяческое содействие. Пришел он и в нашу школу, меня к нему направили, мы подружились. Он многое рассказывал, читал стихи поэтов начала века, многие из которых были запрещены. И если бы не он, я, возможно, по-иному отнесся бы к докладу Жданова. С теми мальчишками, в которых ему виделась Божья искра, он возился самозабвенно, жил интересами литературы, именно благодаря ему я оказался в гостях у Маршака, который при мне прочитал мои стихи и направил меня в литстудию при Дворце пионеров. Я там был всего однажды, прочитал стихи, имел даже какой-то успех, но больше туда не ходил. Через Павлушкова же мое первое стихотворение было напечатано в “Пионерской правде” . . .”

Рассказ этот относится уже к концу XX века, он в целом точен, но какие-то детали покрываются плотной пеленой времени, а то и попросту забываются. Виктор Афанасьев, общавшийся с Павлушковым дольше и теснее Вадима, уточнил, что никакого отношения к купеческой среде Павлушков не имел, — он был сыном основателя Московской ветеринарной академии и до своей болезни (слух он потерял от менингита) работал библиографом в Библиотеке имени Ленина. “Он оставался человеком Серебряного века, — рассказывал Афанасьев, — ничего советского к нему не пристало... Павлушков был издавна дружен с такими знатоками литературы, как Дмитрий Дмитриевич Благой и Иван Никанорович Розанов... Жилось ему крайне трудно. После смерти отца и брата он остался совершенно один, не умел себя обеспечить, питался скудно, ходил в изношенной шинели и кирзовых сапогах, с вещмешком на спине, где ничего кроме книг, рукописей и черного хлеба не было. Иногда он, припозднившись, шел в темноте от станции Вешняки в свои Кузьминки (а это около трех километров по полю мимо кладбища), и случалось, что его оставляли грабители. Посветивши фонариком ему в лицо, они с разочарованием говорили: “А! Игорь Сергеевич! Ну, проходи”.

...Он неизменно располагал людей к себе. Потом, познакомившись с нами, он посещал наши дома... Благодаря Павлушкову я прошел большую литературную школу. То, что я узнал от него о поэтах, книгах, литературном быте эпохи, легло прочным фундаментом в мою будущую литературную работу, а я именно стал специалистом по эпохе Пушкина-Жуковского и потом написал ряд биографий поэтов, издавал и классику с предисловиями и комментариями... Вадим также говорил, что любовь к поэтам Пушкинской поры у него именно от Павлушкова...

Павлушков ходил к Вадиму домой (он жил на Донской улице). Но реже, так как стеснялся его отца, который был строг и, видимо, не весьма гостеприимен. Вадим, конечно бывал у нас, в нашей коммуналке — в здании бывшего Благородного университетского пансиона на Тверской улице (тогда Горького). Как-то в начале 1990-х годов мы говорили по телефону о нашей юности. Он сказал: “Я вспоминаю, как к тебе приходил... Ты был тогда жутко бедный!”. Действительно, наша семья голодала долго и после войны...”

В архиве Вадима Валериановича сохранился весьма любопытный текст — самодельная вариация неизвестного автора на последнее записанное стихотворение Есенина “До свиданья, друг мой, до свиданья...” (видимо, стихи были принесены Павлушковым). Мне не раз попадались в руки подобные апокрифические варианты (как правило, в начале идет есенинская строфа, а дальше следует “импровизация на заданную тему” с обязательным упоминанием, что “это и есть подлинный Есенин”)... Такого рода сочинения в изобилии ходили тогда по рукам.

А что касается доклада А. А. Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”...

Постановление о журналах, как и сам доклад на взгляд рядового обывателя, неискушенного в политических хитросплетениях, выглядело чудовищно по своей нелогичности. Концы настолько не вязались с концами как в постановлении, так и в докладе, что, естественно, возникла чрезвычайно удобная версия, объясняющая всё случившееся “прогрессирующим маразмом диктатора” и “очередным стремлением привести интеллигентную в оцепенение”, для чего был выбран, разумеется, тупой и неинтеллигентный функционер... Вадим, видимо, впервые познакомившийся со стихами Ахматовой (как и многие) именно из этого доклада, был восхищен их силой и энергетикой, а контраст между ахматовскими строчками и основным текстом был таков, что и думать не приходилось о каком бы то ни было согласии с заключениями главного идеолога... Как раз в момент чтения в Вадимовой квартире появился Павлушков и подошел к столу, любопытствуя, во что это с таким вниманием погружился его ученик... При виде газетной страницы с портретом Жданова у Игоря Сергеевича исказилось лицо, и он вплепал щелчок в лоб идеолога так, что лист порвался... Как вспоминал Кожинов — это была для него лучшая и ожидаемая рецензия на сей документ.

Но думается, всё же Вадим Валерианович несколько преувеличил здесь свою зависимость от мнения наставника. При его собственной начитанности и погруженности в отечественную историю, которая, пока еще неосознанно, представлялась ему, как единое целое, при его постоянной работе

над изучением и описанием памятников отечественной культуры, он едва ли мог с минимальным благодушием внимать хотя бы подобным пассажирам:

“Дворянский Петербург, Царское Село, вокзал в Павловске и прочие реликвии дворянской культуры. Всё это кануло в невозвратное прошлое!.. Старый Петербург, Медный всадник, как образ этого старого Петербурга – вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград, как центр передовой советской культуры..”

Мы сегодня не те, что были вчера, и завтра будем не те, что были сегодня. Мы уже не те русские, каким были до 1917 года, и Русь у нас уже не та, и характер у нас не тот..”

Помимо всего прочего, создавалось впечатление, что Жданов будто противоречит Сталину, словам вождя, произнесенным после победы над Германией и над Японией, не говоря уже о сталинском выступлении во время парада наших войск на Красной площади, когда он “осенял” русских солдат и офицеров (они все воспринимали себя именно русскими солдатами и офицерами!) именами Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова..

Это противоречие, эту загадку не могли разрешить не только взрослые умные и начитанные люди того времени (что говорить о школьниках!) – её не могли и, по сути, не хотели решать и в последующие десятилетия интеллигенты, заиклившись на теме противостояния поэзии государственной власти..

Что-то перевернулось в стране, – и далее события шли лишь по нарастающей..

Настала пора оканчивать школу. При выпуске Вадиму была вручена следующая характеристика:

“Кожин Вадим Валерианович был одним из наиболее одаренных учеников мужской средней школы №16 г. Москвы. Прекрасно развит, обладает выдающимися способностями и глубоким интересом к литературе и литературному творчеству, хорошо знает отечественную и иностранную литературу. Его сочинения всегда отличались интересным содержанием, обнаруживали умение самостоятельно и глубоко разбираться в литературном материале и были политически грамотными и безошибочными в смысле оформления языка и стиля.

В своих литературных произведениях Кожин умеет прекрасно выразить в художественной, глубоко эмоциональной форме патриотические чувства в связи с общественно-политическими событиями.

Работа Кожина на аттестат зрелости удостоена высшей оценки (5) и похвалы со стороны городского методиста по литературе.

Директор школы №16 Нивелин.
23 августа 1948 г.”

Эту характеристику Вадим принес на Моховую в Московский государственный университет. Он поначалу мечтал об историческом факультете – но это был факультет идеологический, и поступить туда мог только комсомолец (а Вадим не пожелал вступать в комсомол – чем дальше, тем больше его мироощущение не смыкалось с господствующей идеологией, чем дальше – тем больше он погружался в XIX век и зачитывался откуда бы то ни было доставаемыми книжками века “Серебряного”...). Прямой путь был – на факультет филологический.